

Лариса Маламуд

## Помолюсь как умею

Перед поездкой в Одессу Марина купила Шурику кулон. Выбрала его в узком темном магазине иудаики в Старом городе. Казалось, и магазин, и его сухопарый хозяин Эфраим застыли в семидесятих годах прошлого века, но именно сюда Марина приходила за подарками заграничным друзьям. Рассказывала, куда едет, кому хочет привезти сувенир, и хозяин всегда находил что-то подходящее.

– Подарок для брата, – повторил за Мариной Эфраим. – Тут нужно что-то особенное.

«Ты даже не представляешь, насколько особенное, – подумала Марина. Он сам по себе особенный, и у него тонкий вкус».

В юности она всегда советовалась с Шуриком по поводу нарядов.

Эфраим выложил на прилавок три синие бархатные подушки с несколькими десятками кулонов. Марина сразу увидела этот – золотой, лаконичный, без завитков и камней. Он удобно лег ей в ладонь и излучал тепло. Кулон был не слишком легким, не слишком тяжелым, не слишком блестящим, не слишком простым. Он был «не слишком», а как раз таким, какой придется по душе ее брату. Брат, в вечных джинсах и клетчатых рубашках, украшения не признавал. Ни цепочки, ни, боже упаси, перстни. Ну с перстнями-то ясно, ему при всем творческом названии профессии «театральный художник» много приходилось делать руками самому. Но простенький кулон п\* у него был, он купил

\* п\* – значение слова «хай» – жизнь. В гематрии (учении о буквах и числах в иудаизме) хай равен числу 18, которое является духовным числом в еврейской традиции. Его изображение часто носят в виде подвесок.

его себе в последний приезд в Израиль. Возможно, подумал, что шестиугольная звезда Давида будет чересчур вызывающе смотреться в сочетании с его славянской физиономией, а короткое слово «хай», означающее «жизнь», поможет в столь непростой, но любимой им жизни. Протянул сквозь ушко черный шнурок и надел на шею.

Марина удивилась, но промолчала. Не в его стиле было носить украшения, к тому же связанные с иудаизмом. В их доме это не было принято. Изредка, раз-два в год, папа доставал магген Давид\*\* на золотой цепочке и свадебную фотографию своих родителей, клал на стол и несколько минут разглаживал ладонью пожелтевший снимок. Потом складывал обратно в деревянную шкатулку с вырезанными на крышке елочкой и солнышком и надписью «Карпаты» и ставил в книжный шкаф, всегда рядом с темно-зеленым томом Диккенса. Марина знала, что магген Давид передается в семье по отцовской линии еще от прадеда – васильковского бондаря. Чего Марина не знала, так это того, что папа за несколько месяцев до смерти надел магген Давид и уже не снимал. Так и положили в гроб. Она жила в Израиле, последние годы отца прошли без нее. На похороны не попала: тогда, двадцать пять лет назад, это было сложно. Получить срочную визу не смогла, полетела летом, через полгода, и привезла маму к себе. После этого в Одессу не ездила много лет, в отпуск старалась выбирать в Европу, наверстывала упущенное. Летала и ездила, смотрела и вдыхала, впитывала и пробовала Европу на вкус.

А потом решила поехать в Одессу, детям город показать. И поняла, как же она соскучилась. После той поездки жгучее, как перец халапеньо, желание оказаться прямо сейчас на Приморском бульваре или в Пале-Рояле настигало ее в самых неподходящих местах в абсолютно неподходящее время. В Одессе она по-другому дышала и двигалась, ела и пила то, что давно не позволяла себе во взрослой жизни – сочащийся бархатистым заварным кремом наполеон или пирамиду мороженого, политого шоколадом. После спектаклей они с братом шли в «Гамбринус», пили пиво и говорили, говорили. В Одессе жили люди, которые помнили ее еще

---

\*\* Маген Давид – шестиугольная звезда, щит Давида.

девочкой, в Одессе жил единственный человек в мире, которого она могла назвать родным.

\* \* \*

Марина прилетела накануне вечером. Шурик встретил ее вместе с другом. У него самого не то что машины, и прав-то никогда не было. Они отвезли ее в гостиницу, по дороге обменялись последними новостями и договорились встретиться в двенадцать. Марина остановилась в «Дерибасе», в самом центре. Позавтракала сырниками в «Компоте» напротив гостиницы и успела пробежаться по любимым местам. Поздоровалась с Пушкиным на бульваре, дошла до Дюка, повернула налево к памятнику Екатерине, сменившему скульптурную группу потемкинцев, прозванную в народе «Утюгом». Вернулась на место встречи, села в кафе и высматривала в толпе знакомую серебристую шевелюру.

– Приветик, – Шурик плюхнулся за столик, выставленный чуть ли не на середину Дерибасовской.

– Ты в своем репертуаре. Сiju уже полчаса как дура.

– Каждый сидит как умеет. Да ладно, всего на двадцать минут опоздал.

– Пользуешься моей слабостью к тебе.

– Капучино, пожалуйста, – сказал он белокрысому официанту в бордовом переднике. – И бутылочку минеральной. Тортик будешь? – это уже Марине. – Не хочешь – как хочешь.

– Не задабривай меня тортиком. Лучше бы научился приходить вовремя, – буркнула Марина.

– «Вы так печальны, дорогая, как будто горе есть у Вас», – густым баритоном пропел Шурик первую фразу из арии Елецкого в своей извечной шутовской манере. – Смотри, что принес. Никому раньше не показывал, – посерьезнев, он вытащил из холщовой торбы старомодную красную папку с завязками. Друг в Москве в архиве нашел.

Он достал сложенный вчетверо листок, развернул, придержал ладонью от налетевшего ветра и начал читать:

«Я, Смирнова Ангелина Ивановна, отказываюсь от родительских прав на Смирнова Александра Ивановича, родившегося, – го-

лос его дрогнул, но после заминки он продолжил, – родившегося двадцатого марта тысяча девятьсот...»

– Я знаю, когда ты родился – перебила Марина.

– «Тысяча девятьсот пятидесятого года в Москве», – заупрямился он. – Ивановича. Фантазии не хватило. Если бы по бабушке отчество дала, был бы я Хансовичем. Или Иштвановичем. Значит, сделали меня в июне. Звезды, соловьи, романтика... Где там деревенские девушки любовь крутили? На сеновале? – в его голосе появилась горечь, как от ломтика лимона, надолго забытого в чае.

– «У меня уже есть дочь пяти лет, и нет возможности содержать еще одного ребенка», – продолжил он, заученно проговаривая текст. – Мне разыскали в Москве эту дочь, сестрицу мою, стало быть, единоутробную. Зовут Елена. Надо же, как моя Алена, – он как будто удивился совпадению с именем дочери. – По телефону она сказала, что мать родила меня от военнопленного, то ли немца, то ли венгра. Мать работала ткачихой на Трехгорке, а она у бабушки в деревне росла. Встретаться со мной эта Елена отказалась. Да и правда, о чем нам говорить? Нет, я бы расспросил ее про бабушку, про мать. Кто такие, откуда, как жили и от чего умерли. Теперь-то уж чего... К ней у меня ничего нет. А знать полезно. Прихожу к врачу, спрашивает: «В семье диабет был?». А я что скажу? Не буду же всю бразильскую сагу пересказывать. А, слушай прикол. Кто-то из них, то ли бабушка, то ли дед – чуваш. Получается, я на четверть русский, на четверть чуваш, наполовину европеец, а по паспорту – еврей. Обхохочешься...

– Папа с мамой тебе что-то говорили? Когда они ребенка в детдоме выбирали, узнавали, кто родители?

– Они меня не выбирали, это я их выбрал. Папа эту историю раз сто повторял. Они долго присматривались, иногда гуляли с детьми. Выбрали кого-то другого. Вообще девочку, кажется. Пришли документы оформлять, а я закричал: «Папа и мама пришли!». Вот они меня и взяли. Знаешь, мне в жизни повезло дважды, первый раз – когда я родился, второй – когда меня родители из детдома забрали.

– Знаю... Нам обоим с ними повезло.

– Ну, с тобой и им повезло. Умница-красавица, гордость и отличница. Не ката в мешке покупали. И с мамой твоей, царство ей небесное, дружили, и тебе уже двенадцать было. А со мной они нахлебались...

– Они тебя очень любили. И они, и бабушка с дедушкой... Смотри, что привезла, – Марина сменила тему и протянула Шурику серебристую коробочку. – «Хай», такой, как ты любишь, без наворотов, на тонкой цепочке. И кипу вязаную. Кадиш\* нужно в кипе читать. Боже, как время летит! Скоро мамина годовщина.

– Не могу я читать Кадиш, какой из меня еврей? Помолюсь, как умею, – он вытянул из-под футболки нательный крестик и зажал его в кулаке. – И за рабу божию Ангелину...

\* \* \*

Черный платок Марина не нашла. Взяла с собой другой, с крупным цветочным узором. Платок выдавал себя за изделие народных мастеров, хотя был фабричной дешевкой, купленной на турецком базаре. В зимние холода Марина набрасывала его на плечи.

Впрочем, черный ей и не нужен. Любой платок, повязанный под подбородком, удлинял ее и без того продолговатое лицо и придавал ему скорбное выражение.

Билет в Одессу она брала две недели назад. Хотела обернуться быстро, в пятницу туда, в субботу вечером обратно. Ей только повидаться. Не получалось, обратный рейс – в воскресенье. Что же, проведет с умирающим братом еще один день. Побудет с ним, поговорят, повспоминают. Может, посмотрят фотографии, может, выйдут на Соборную посидеть, если у него хватит сил.

Они были самыми близкими друг другу людьми, хотя ни капли общей крови в них не текло. Шурик – сын отдавшей его на усыновление подмосковной ткачихи и пленного немца, Марина – девочка из хорошей еврейской семьи. Хорошей, но куцей – мама и множество теней: папа, бабушка и дедушка. Папа превратился в тень по собственному желанию, а бабушку и деда увела в мир теней ранняя смерть. Когда вслед за ними ушла и мама, посторонние люди стали Марине родителями. Так у нее появился взрослый брат.

\* Кадиш – поминальная молитва.

Шурик болел давно, но не лечился. Пил что-нибудь от болей в желудке и бежал дальше. Когда им удавалось поговорить по телефону, она присваивала себе роль их общей матери и ворчала:

– Ты к врачу ходил? Что сказали?

Он отшучивался и пытался делать вид, что все хорошо. Он всегда делал вид, что все хорошо. Надевал на себя маску веселого дурачка-недотепы, но она догадывалась о черной дыре в его душе, в которую он боялся упасть без возврата. Потом он пропадал на несколько месяцев. Вечно он пропадал – то гастроли в Италии, то занят постановкой «Мадам Баттерфляй». Жаловался на дразги в театре и новое начальство, а она удивлялась. Он же такой славный, его все должны любить. Когда его не стало, Марина настаивала:

– Его всего любили.

Собеседник поддакивал:

– Да, да. Его все любили.

Полтора месяца назад Шурик позвонил и сказал, что все плохо. Марина сразу поняла, как действительно обстоят дела. Ужасно и безысходно. Она старалась говорить строго и конкретно. Шурик соглашался, пытался что-то делать, собирал документы для консульства, но обоим было ясно, что это уже ни к чему. Она торопливо повторяла:

– Приезжай, сразу пойдем к врачу, назначат лечение, ты сильный, ты справишься.

Она не представляла себе, как все будет, если он действительно доедет, но решила об этом не думать. Шаг за шагом, шаг за шагом.

Позвонила Алена. Сказала, что ночью у Шуры был инсульт. Иногда он приходит в сознание, слышит, что ему говорят, и сам может сказать несколько слов.

Через три часа Алена позвонила еще раз:

– Говорите, папа вас слышит, он сейчас в хорошем состоянии.

– Азохен вэй,\*\* в хорошем состоянии, – Марина прижала телефон крепче к уху и забормотала, не дожидаясь ответа: – Я скоро приеду, Шуручка, жди меня, я очень тебя люблю, очень...

---

\*\* Азохен вэй – писать следует «аз ох-н-вей», что дословно переводится как «Когда (хочется сказать) «ох» и «вей».

На кремацию Марина не успела. Шурик давно просил его тело сжечь, а прах развеять над морем. Не хотел никому усложнять жизнь: «Или будут тащиться через весь город двумя автобусами на Таировское и проклинать все на свете, или ругать себя за то, что давно у папы не были, теперь могилу и не найти, бурьяном заросла».

День был обычным – не морозным, не жарким, не ясным, не пасмурным. Так, ни то ни се – январь в приморском городе. Марина озиралась по сторонам, искала знаки, пыталась найти что-то, что придаст значительности событию, но все происходило казенно и буднично. Постояли в очереди. Алене под расписку выдали черную пластмассовую урну. Она поставила ее в захваченную из дому холщовую торбу. Не в руках же тащить. Деловито посоветовались с таксистом. Решили ехать на Ланжерон. Не потому что покойный любил это место, не потому что гулял там с дочкой и внучкой в свой последний выход из дома, а потому что подъехать удобнее всего.

Людей на пляже было не много. Прогуливались, кормили чаек. Фотографировались туристы, приехавшие в Одессу на Новый год.

Они прошли в самый конец пирса, проверили направление ветра и выбрали момент, когда пирс опустел. Алена отвинтила крышку и опрокинула урну над морем. Поток воздуха подхватывал серо-серебристые хлопья, нес над волнами, но не поднимал. Они медленно ложились на воду перцем мелкого помола. Марина удивилась, что пепла так много. Сколько пепла остается после сожжения трупа взрослого мужчины?

Она достала из кармана п, который долго сжимала в ладони. Рука стала потной, и еще несколько дней на ней оставался след от острого краешка. Марина бросила кулон в кучку пепла.

Пепел оседал в толще воды. И вдруг из-за облака вспыхнуло солнце. Море приняло прах брата. И его душу, искавшую и так и не нашедшую свое место на земле.

С пирса Марина пятилась на берег спиной. Так отходят от Стены плача. Шла медленно, чтобы не упасть в воду. Она старалась разглядеть место, куда легла кучка пепла с кулоном, но море накатило волну и утащило последние хлопья.

День сиял золотом бликов на гребешках упругих волн и синевой высокого неба. Такой сценой гордился бы любой театральный художник.